

вашего отпрыска каждый дюйм — музыка!». В педагогическом смягченном виде и ты в конце концов услышишь это как воспламеняющую похвалу, как призыв к строжайшему прилежанию...

Прилежание — разве надо призывать к прилежанию талант, одержимость талантом? Они ведь составляют единое целое: талант подгоняет, прилежание — средство для выполнения. Гений, конечно, маниакально прилежен. Я вижу, как по дороге в школу ты упражняешься в синхронизации обыкновенных восьмьюх с триольными: на протяжении каждых двух шагов ты громко считаешь: «Раз, два, три» в абсолютно одинаковом ритме, причем «раз» всегда должен совпадать с шагом левой, а потом так же: «Раз, два» на три шага, и «раз» должен приходиться попеременно то на левую, то на правую ногу. Прохожие удивлялись. Но именно таким образом правильное исполнение триольного сопровождения и простым нотам превращается в привычку, не требующую стараний. И много позже Стравинский, чей концерт ты играл с ним в Париже (разумеется, немощно вопреки твоим классическо-романтическим убеждениям), пишет в своих мемуарах: «Вальтер благодаря его необыкновенному мастерству сделал мою задачу особенно приятной. У него я никогда не буду страшиться тех мест, ритм которых представляет опасность для совместной игры, являющихся камнем преткновения для столь многих дирижеров».

«Вначале был ритм», — сказал Ганс фон Бюлов. Конечно, это дирижерское словечко, но я подозреваю, что оно действительно для всех искусств, действительно, конечно, и для писательского творчества — здесь я имею в виду не только поэзию. Шиллер признавал, что звезднотуманное первобытное состояние произведения есть музыкальное состояние, ритмическое предчувствие. Когда пишешь — уверяю тебя — мысль очень часто бывает всего лишь продуктом ритмической потребности; она проводится ради некоего каданса, а не ради нее самой — даже если кажется, что рад за нее. Я убежден, что современнейшая и сильнейшая привлекательность какой-либо прозы заключена в ее ритме, чьи законы нами:го изощреннее, нежели вполне очевидные метрические. И я был чрезвычайно польщен, когда о первом моем романе один критик сказал, что в моей манере изложения есть много от дирижерской деятельности.

Однажды, когда я выразил метафизическое намерение — «в следующий раз» сделать самым естественным, ты дал мне изящный ответ:

«Ну, я очень рад, что ты не стал им уже на сей раз».

Это правда: один из нас в таком случае был бы, пожалуй, лишним. Рожденный стать музыкантом, я сочинял бы примерно, как Сесар Франк, и дирижировал, как ты. Извини, я уже сказал это по другому поводу. Причина — в большой симпатии и твоей манере дирижирования, и мере и впусу твоих жестов, твоего mimического раскрытия музыки; причина — в большом восхищении твоей властью и мастерством, из-за которых я завидую тебе, утверждая, что имел бы их... Ах, да, ведь то, чего не можешь, и есть искусство. Иногда вздох, слезавшие с твоих уст, выдавали, что и тебе при случае не чуждо желание поменяться; и среди моих близких (ну, ты ведь знаешь и любишь их) вошло в обыкновенное говорить: как редко можно увидеть, как прекрасно, когда два старца так сердечно восхищаются друг другом. Я улыбаюсь сквозь слезы при каждом повторении этой фразы. Но потом говорю себе, что для зависти с моей стороны, пожалуй, больше оснований, и я силенок предостеречь тебя от неосторожных желаний.

КАК ДРУГ, не могу порекомендовать тебе второе рождение в качестве писателя, с его насквозь ненадежной и трудной жизнью. В ту пору, когда старый Радеке, изумляясь, экзаменовал тебя я вместе с моими невинными сестрами, нашими родителями и тетушками разыгрывал сочиняемые мной бессмысленные маленькие пьески, одна из которых, как мне слишком хорошо помнится, носила название: «Меня вы не сможете отравить!» Если бы кто-то, наподобие старого Радеке, засвидетельствовал на основании этого, что каждый дюйм во мне — поэзия, что он сделал бы себя виновным в чудовищном легкомыслии. Было просто забавно — что мне только не изобрело в голову, но основываясь на этом надежды на будущее никто не позволял себе даже подумать (кажется, и я тоже). Но когда кто-то, подобно мне, и в дальнейшем занимается стихами и праздной писаниной (склонность, тесно связанная с недостатком радостного телесного здоровья, с преувеличенностями чувственной жизни), то дело становится сомнительным и составляет для близких

почти одно лишь огорчение. В пятнадцать лет я был не чем иным, как плохим учеником. В это время скончался мой отец, и в своем завещании он сказал обо мне, что у меня мягкое сердце и что я буду оплакивать его. Это было все, чего он мог, при всем желании, ожидать от меня. Через десять лет, стало быть, очень рано, благодаря особенному прилежанию, которое я могу сравнить с твоим, и благодаря дару восхищаться и учиться, я написал приемлемую для окружающего мира книгу. Десять лет — сознаюсь, что они, между тем, уже привесли те либо иные поощряющие предзнаменования. Но в целом то были годы застенчивой скрытности, меланхолического одиночества, с неопределенным и недоказуемым ощущением собственного достоинства.

Нет, тебе было лучше — не легче, этого я не говорю, но лучше. Насколько с самого начала музыкальный талант заметнее, очевиднее, больше проявляется, более блестяще, желаннее, чем писательский! Чтoby воспринять и совершенствовать его, насколько лучше устроено общество. Можно испытать его и потом феноменальный испытуемый выглядит, как ты на детской фотографии. Государственные учреждения, консерватории, певческие академии, оперные театры готовы, ждут с распростертыми объятиями. «Кем ты хочешь быть?» — «Музыкантом». И любое лицо проясняется. «Кем ты хочешь быть?» — «Поэтом». Но этого совсем не говорят.

Что я в тебе так высоко ценю, старый дружище, так это то, что при любимо́йшем во всем мире таланте, дарованном небесами, ты никогда не удовлетворялся им; что возвышенная туманность царства звуков, где ты повелеваешь, не была для тебя всем; что

с самой ранней поры ты жаждал почестей и радостей, доставляемых ясно выраженной мыслью, словом, идеей, человеческой цельностью, образованием — не станем же страшиться старомодного понятия. Среди музыкантов это как раз не что-то само собой разумеющееся, но величайший, Бетховен, трогательно призывал к такой обязанности, когда писал в одном из писем: «Не существует трактата, который для меня оказался бы слишком ученым. Ни в малейшей степени не претендую на собственную ученость, я с детства, однако, стремился постигнуть идеи лучших и мудрых людей каждой эпохи. Позор артисту, который не считает это обязанностью, хотя бы в меру своих сил...».

«Обязанность» была для тебя любовью и радостью, естественным желанием твоего бодрствующего, полного жизни, всесторонне направленного ума. Об осведомленности в мировой литературе свидетельствует твоя книга воспоминаний, а твои беседы делают это еще в большей мере. И, наверное, в дружеских отношениях с тобой состояло столько же писателей, сколько и музыкантов. Одним из них был я, и, если когда-нибудь напишу мемуары, этот счастливый жизненный факт должен быть в них упомянут радостно, с гордостью и благодарностью.

А сегодня, мой милый, позволь волнующие меня (как и всех впечатлительных людей) в твой торжественный день чувств объединять в возгласе энтузиаста, прогрессивиста с галерки зала «Аугустео» в Риме, когда после некоторого сопротивления шумным требованиям ты начал бисировать «Путешествие Зигфрида по Рейну»:

«Браво, Бруно!»

Перевел с немецкого
Г. Эдельман.